

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК

РАССКАЗ

МИХАИЛ ГРЕШНОВ

Николай Сергеевич Гринько, журналист, сотрудник известного на Юге издания, ехал в Чеботки не по командировке. Направление у него было в Воронеж, на атомную электростанцию, потом на Курскую магнитную аномалию, но путь лежал по родным местам, которые хотелось увидеть, и Николай решил выкроить из своего времени два-три дня.

Не был он в селе больше двадцати лет, и сейчас, когда машина мчит по степи,— от станции до Чеботков одиннадцать километров,— Николай вспоминает улицу, покрытую мягкой и теплой, точно кошачий мех, пылью, потребилку — так называли тогда сельскую кооперацию, где тетка Ульяна торговала красными крупными, как блюдца, пряниками, дегтем и водкой и где по праздникам захмелевшие казаки судачили о житейских премудростях:

— Я специалист ложки делать! — петушился Афоня, сивенький старичок, всегда, как гвоздь, торчавший возле прилавка.

— Куме,— перебивали его,— град — от бота или от кого?..

— Я специалист ложки, — тщился доказать Афоня.

Это слово «специалист» запомнилось Николаю, приходило всякий раз, когда за обедом брал ложку в руки... Вспомнилось и сейчас, вызвав улыбку.

Потом Николай приезжал в село незадолго до войны, четырнадцатилетним мальцом: только что поступил в ФЗУ, заболела мать, и ездил он за теткой Ульяной, больше из родных никого не было. Пришел вечером с Сутолмина, с разъезда,— отсюда, если идти напрямик,

ближе на три версты... Уезжали на следующее утро, по дождю, плаща у Николая не было, и кто-то кинул ему короткий, девчачий, так что руки по локоть вылезли наружу, всю дорогу были красные, мокрые... Этот день Николай вспоминал с неудовольствием...

Машина круто идет под гору, замелькали плетни, усадьбы. Вот они — Чеботки.

— Мне в Красный Кут,— говорит шофер, открыв Николаю дверцу. — До центра, — показывает рукой,— сюда.

Дальше Николай шагает один, оглядываясь по сторонам.

Улица казалась незнакомой: дома, огороды, размежеванные терновником; лишь в одном месте, где тропинка уходила влево, в сады, вдруг почудилось что-то близкое, словно вчерашнее...

Потом открылась площадь, магазин, где работала тетка Ульяна, и все стало на место: улица, дома, спуск к реке.

Здесь он встретился с бригадиром:

— Фамилия что-то нашенькая, — сказал тот, крепко сжимая руку. — Не Федота Гринькова сын?

— Нет,— ответил Николай. — Те Гриньковы другие. По фамилиям схожие...

— Значит, от журнала? — спрашивал бригадир. — Хорошо... Народу нас тут хороший — золотой... Посмотришь — напишешь. — Помялся с минуту, махнул рукой: — И недостатки есть — все пиши...

Николай не думал писать о деревне, просто потянуло взглянуть на родной угол, но бригадир говорил с такой убежденностью в силу пера, что Николай согласно кивал головой.

— Куда ж тебя?.. — размышлял хозяйственник. — Чтоб просторнише... Андреевна! — крикнул проходившей старухе.— Сведи товарища к Татьяне,

устрой человека.

— Кто такой?.. — бабка оглядывала Николая, склонив голову набок — поптичи.

— Корреспондент... — пояснил бригадир. — О нас хочет писать — о колхозе.

— И то ж? — согласилась бабка. — Про Москву пишут...

К Татьяне пришли, когда солнце готово было скрыться за горизонт, но еще успело вспыхнуть румянцем на лице женщины, в ее светлых глазах, опять напомнивших Николаю что-то близкое.

— К тебе, Таня, — запела Андреевна. — Бригадир послал — приезжающий вот...

Татьяна облокотилась на калитку, на миг как-то погрузнела вся, растерявшись или не решаясь пустить чужака в дом.

— Что ж ты, аль нельзя?.. — пыталась бабка. — Поведу дале.

— Нет, что вы... проходите. Собаку привяжу... — Поспешно, показалось Николаю, отвернулась, загремела цепью.

— Надолго к нам? — спрашивала любопытная бабка.

— Дня на два, — сказал Николай.

— Приезжают, — миролюбиво согласилась бабка. — Поглядят — и уедут...

Наконец Татьяна подошла к калитке, открыла и, не глянув гостю в лицо, пошла впереди, стройная, прямая. «Чего это она так?.. — подумал Николай, без особого желания идя за хозяйкой. — Может, лучше бы у кого другого?»

Татьяна провела в горницу, включила свет, вышла. Николай раскрыл чемодан, вынул полотенце, мыло, вышел вслед.

Женщина стояла в коридоре, прижав руки к вискам, будто у нее болела голова, смотрела перед собой, кажется, ничего не видя.

— Можно... — спросил, робея, Николай, — умыться?

— А... — обернулась она. — Где вам? Здесь — или во дворе?.. — И, не ожидая ответа, поставила табуретку, таз, подала кружку — отерла рукой доньшко, с которого капали на пол капли.

Николай вздохнул облегченно.

— Мы с вами не познакомились, — сказал он. — Меня зовут Николай Сергеевич.

— Меня — Таня... Зовите Таня, — сказала она.

Вдоволь нафыркавшись, конфузясь лужи, которая образовалась на полу, Николай говорил:

— Обо мне особенно не беспокойтесь.

Привык в дороге, в поездках. Разрешите, пойду посмотрю, как вы тут...

Когда он ушел, Татьяна опять застыла посреди комнаты, прижав руки к вискам. Потом кинулась к сундуку, начала рыться в простынях, в платьях, выбросила половину на пол и, отыскав маленький сверток, торопливо стала развязывать его негнушимися одеревеневшими пальцами. Узелок не поддавался, она разорвала тесьму — блеснуло что-то круглое, отдавшее золотом. Татьяна с минуту глядела на маленький кругляшок, улегшийся на ладони, голова ее клонилась все ниже, пока не упала на руки...

Николай шел вниз по улице. Заря горела вполнеба — час, когда уже не день, даже не вечер, но и до ночи еще не близко, звуки замирают или звучат примиряюще тихо, готовые замереть; где-то лаяла собачонка, так далеко, что днем ее не услышишь за расстоянием; курлыкали цыплята, прижавшись под крылом птицы-матери; на реке хлопал мотор, словно кто-то одинокий, неутомимый бил в ладоши, хотя спектакль давно кончился... Вместе со звуками плыли запахи кизячных дымов, молока, вечерних цветов и тот жаркий, сытный запах хлебов, которым полна степь в пору уборки урожая.

Николай слушал, вдыхал запахи, и все это рождало в нем странное ощущение дальнего, близкого, детского, нового, переполняло его, мешалось в душе, мгновенно сменялось одно другим: по этой дороге он бегал к реке; здесь жили Шацкие... А на той стороне — Мироновы, у Петьки разные глаза: карий и серый...

Петьку бы он узнал. Кого помнит из школы? Кольку Головля, Ивана Кожевникова, Норкину... Как ее звали? А здесь... — у Николая опускаются руки.— Здесь стоял домик тетки Ульяны. Пустое, одичавшее место... И дальше — нет Егоровых, Савиных... «Нет Егоровых...» — Николай ловит себя на мысли, что третий раз повторяет: «Нет Егоровых...», — будто главное в том, что нет именно их, а не всего, что называется, прошлым. И чего он хотел?

На реке тихо и грустно, камыши в сумерках черные, мотор умолк, будто заснул, и Николай чувствует себя лишним, забытым всеми; напрасно приехал вспоминать прошлое и ненужное. Да и сам он не нужен здесь. У людей свои дела, свои беды. Сколько прошло: война, после войны... Сверстников, поди, разметало по всей стране, старшим до него и вовсе нет дела — был он тогда бесштаный мальчишка...

И ускоряя шаг, словно стараясь уйти от своих мыслей, Николай повернул назад, навстречу огням, засветившимся з окнами.

Татьяна управлялась на кухне. На ней было свежее платье, открывавшее руки и шею, волосы гладко зачесаны, улыбка оживляла лицо, делала женщину красивой, это приятно удивило Николая.

— Вы, наверно, устали?— спросила она.— Сейчас будем ужинать.

Николай согласился.

— Видели кого-нибудь?— Она села к столу напротив.

— Никого,— ответил он,— Да никого и не надо...

— Как... никого?

— Завтра буду знакомиться. Всех обойду...

— Завтра?..— спрашивает Татьяна очень спокойно, только руки ее не находят места: с колен взлетают на стол, опять падают на колени, и — опять на стол, поправляют скатерть.— А меня, Николай Сергеевич, не узнаете или, может, не признаете?

Николай отодвигает тарелку.

— Таню Норкину, — говорит она.

— Таня? Неужели ты?— Николай встает из-за стола, подходит к ней.—

Неужели ты?

— Я, Коля. Изменилась?..

Николай смотрит ей в глаза, вспоминает свое: военные годы, учебу, жену, которая старше его, вышла замуж не по любви и потому считает себя неискупимой жертвой... У Татьяны тоже неустроенная судьба — живет одиноко...

— Все меняется... все,— говорит он.— А тебя я не ожидал встретить. Вот ты какая! А ведь была... тебя дразнили...

— Мышонок пик-пик...

— А меня — Битюг.

— Помнишь, Евграф Платонович...

— А снежную гору на школьном дворе — помнишь?

Так они беседуют о давнем, о пустяках, и Николай втайне рад, что не приходится говорить о себе, о жене, о неумело и неумно прожитых годах — пусть она ничего не знает.

— Еще я вспомнил, знаешь, Петьку разноглазого!.. А тебя — не узнал...

Почему у нее в глазах вопрос, и эта морщинка на лбу вроде бы осуждает?

Николай опять и опять чувствует себя виноватым:

— Правда ведь не узнал, Таня...

— А я помню тебя,— говорит она.— Узнала.

Пришел сынишка Татьяны Гриша.

— Не остался у бабушки?— спрашивает она.— Садись, ешь.

После ужина Николай стоял на крыльце, слушал, как Татьяна взбивает подушки, думал: каким боком он все-таки родня этим Чеботкам?

Отец, брат Ульяны, умер, когда Николаю было два месяца, мать слегла в больницу, тетка выкормила его из рожка, до десяти лет растила. Потом отдала матери в город... И вот он опять в деревне, где от прошлого не осталось следа — пустырь и темные камни... Так уж и не осталось? — Николай поднимает голову. А Таня, «мышонок пик-пик»?.. Перед ним классная комната, два ряда парт: один ряд — четвертый класс, другой — второй; в маленьких селах до сих пор два класса занимаются вместе... В одном ряду не хватило парты, и его посадили с девочкой-

второклашкой Таней... Сколько же ей сейчас, если ему тридцать пять? И эти годы надо было прожить. И ему тоже надо было прожить: эвакуацию, смерть матери и тетки, детдом... И Таня его узнала! Может, бабка Андреевна тоже узнала? Как она: «Поглядят — и уедут...» Наверно, уполномоченные у старухи в печенках — мало ли их шатается... И еще подметила старая: «Про Москву пишут...» Сравнила: Чеботки и Москва... А почему бы не написать? Ведь он журналист!..

— Тогда закроете на щеколду, — доносится голос Татьяны.

Она уже легла в соседней комнате, распустила на дверях шторы. Наверно, у нее открыто окно — занавеска колышется.

Николай обдумывает статью: начать с разговора на площади, познакомиться ближе с бригадой... Напишет о людях, о Тане. Как сложилась ее судьба? — Тема начинает волновать Николая. — Как прожиты годы?

Волнуется и Татьяна.

Когда человеку за тридцать, прошлое перед ним, как дорога, на которой есть и солнце, и тени. Но самое светлое — начало пути, детство и юность, с их порывом и первой любовью. И если дальше несчастья и неудачи, ранняя пора тем живее, тем привлекательнее.

Приезд Николая не показался Татьяне случайным: каждый, кто бы он ни был, не забывает родного места. Но то, что Николай неожиданно пришел к ней, взбудоражило ее душу.

Это их, Таню Норкину и Колю Гринько посадил на одной парте старый учитель Евграф Платонович. Они и домой ходили вместе. «Тили-тили тесто, жених и невеста!..» — кричали ребята вслед, но сильный, плечистый Коля был невозмутим.

Таня, в противоположность ему, росла болезненной слабой девочкой.

Однажды, когда у нее болели зубы, пришел Коля и долго сидел у ее кровати. От боли она не могла говорить, глаза застилало слезами.

— Ну что ты? — спрашивал он. —

Надо терпеть...

Терпения не было, да и откуда его взять, ж чего они болят, зубы, чего им надо?..

— Хочешь, я тебе покажу что-то? — сказал Коля. — Закрой глаза.

Она закрыла глаза, ждала, пока он рылся в карманах: боль, кажется, начала утихать.

— Теперь гляди! — разрешил он.

В руках у него был маленький кругляшок.

Такие кругляши они делали сами, вытачивая из разбитых тарелок. Надо только облюбовать кусок, с листочком или цветком, и терпеливо тереть об камень, сглаживая углы. Но этот кругляш был совсем особенный: на нем, как живой, подняв крылья и весело крича, блеснул золотой петушок.

И она, дурочка, когда увидела петушка, заплакала еще пуще: она совсем-совсем несчастная, слабее ее никого нет в классе, болеет вот уже неделю, ребята катаются на санках, гоняют на реке ледышки, а она в постели, и у нее нет и никогда не будет такого красивого блестящего петушка.

— Ну, чего ты? — спрашивал Коля.

— Да... хорошо тебе. У тебя вон и пе-пе-тушок, — заливалась она.

— Так возьми его, — сказал Коля. — Бери!

Петушок помог ей, зубы перестали болеть.

Потом Колю увезли в город. Она скучала по своему другу, но спросить о нем тетку

Ульяну не решалась. Суровая тетка и с ее отцом, сельповским возчиком, обращалась, не дай бог как строго, а ее, девчонку, вовсе не замечала, как траву. Петушка Таня хранила, и все ей казалось, что он когда-нибудь крикнет: «Коля приехал!»

И, действительно, Коля приехал. Это было неожиданно, петушок не предупредил ее. Таня закончила шестой класс, были каникулы, как вдруг вечером прибежала Лелька Блинникова:

— Кого я видела, Таня!

— Кого?..

— Колю Гринькова. Идет с разезда

грязный, усталый!

Эта Лелька такая липучая. Таня хотела побежать к тетке Ульяне, поглядеть Колю, какой он, но Лелька прицепилась, как репей,— куда Таня, и она следом. Тут уж вечер, зажгли лампу, а Лелька все не уходит.

Ульяна пришла сама. И Коля пришел.

— Завтра, Матвеич, запряжешь раньше.

Софья заболела,— вот Николая прислала, так чтобы — к поезду...

Сказала все это, стоя у двери, Коля тоже стоял. Мать вымешивала тесто, нагибаясь, заслоняла лампу, и возле двери было совсем темно. Таня увидела высокого парня, в рубашке с «молнией», блестящие глаза, чуб, выбившийся из-под кепки. Рядом восторженно хихикнула Лелька.

— Вы присядьте, Михайловна!— отец придвинул табурет.

— Некогда сидеть, — сказала Ульяна.— К Игнату еще — пусть поторгует вместо меня. Пошли!— сказала Николаю.

Они ушли, а Тане захотелось заплакать: от обиды на Лельку, от того, что Коля не заметил ее.

Утром, как ни рано проснулась Таня, лошади были запряжены, возле телеги шумела тетка Ульяна. В стекла барабанил дождь. Таня подбежала к окну. В тумане было видно, как усаживались Ульяна, отец. Коля уже сидел на телеге. Отвернув ворот пиджака, натянув кепку, он был не таким, как вчера. Поднятые плечи казались острыми, с обвисшего козырька стекали капли... Таня кое-как оделась, схватила плащ, но телега выехала со двора. Таня кинулась вдогонку, скользила по грязи, догнала.

— Вот...— сунула плащ отцу в руки. — Коле.

Кажется, Николай обернулся, поглядел в ее сторону, отец ударил вожжами, подгоняя коней.

«Коля! — крикнула она, какое там крикнула — шевельнула губами.— Коля!..»

Телега скрылась в дожде.

При воспоминании об этом Татьяне показалось, что она и сейчас кричит:

«Коля!». Сердце испуганно билось — неужели не слышит, не слышал?..

Татьяна смотрит на дверь, завешенную материей. Вот раздвинутся шторы — дрогнули, колыхнулись...

Нет, это ветер-сквозняк тянет над полом, колыхнет занавес.

II

По-настоящему Николай увидел Татьяну утром. Не удивительно, что не узнал в ней прежнюю одноклассницу, неприязнательного «мышонка». Не узнал бы ее вообще, не назови она себя вчера вечером... Или это все сделала перемена в его настроении? Или щедрое солнце?.. Все это верно — и солнце, и утро,— но погляди на Татьяну!

Каштановая коса обвита вокруг головы, уложенная венцом. От этого лоб женщины высокий и ясный. На нем только одна морщинка, та самая, что Николай заметил вчера, но ничего осуждающего в ней нет. Может быть, это от глубоких и чистых глаз или оттого, что лицо сужено книзу овалом, на котором прямо и четко обрисованы губы? Лучше на них не глядеть — свежие, совсем девичьи и, наверно, теплые губы.

Вчера он заметил, что Татьяна красива, но сейчас видит, что красива она особенной красотой, которая свойственна много думавшим и живущим замкнуто женщинам. Николай смотрит на ее руки. Они делают все по дому. Но и руки ее особенные: чуткие и какие-то радостные. Такие руки любят детей... Татьяна заведует детским садиком — об этом Николаю сказала бабка Андреевна. Вот она поправляет Грише воротничок. Мальчик по-прежнему стесняется чужого дяди. Николай хвалит его — не балованный.

Говорят Николай и Татьяна мало. Опять о школе, о Евграфе Платоновиче. Между ними не стерлась еще неловкость неожиданной встречи. Но уже зародилась, во всяком случае, у Николая симпатия к Тане. Его только смущает боязнь поднять на нее глаза. Как получилось такое чудо из белобрысой девчонки?..

С этой мыслью Николай уходит в

контору, где должен встретиться с бригадиром. По дороге окончательно принимает решение: писать будет. И неожиданно признается себе: для Татьяны. Почему? Загладить вину, что не узнал ее с первого взгляда? Какая же это вина?.. Но мысль пришла, укрепилась в его голове: ради нее.

Сидя с бригадиром в конторе, оглядывая входивших, по улыбкам, по манере здороваться Николай определял характеры, искал деталь, с которой можно было бы начать очерк. Вслушивался в живую полуукраинскую речь, сдобренную, как солью, неожиданным юмором:

— Яка ж тут работа: ходымо, ходымо — пидправте тяпки, — жалуется на кузнецов круглолицая румяная молодлица, — а у них все не так, как у людей: то угля нема, то мехи прохудились. «Дуйте, — говорят, — сами!» Дунуть бы им, чтоб пузырями оттуда вылетели да лопнули...

Стены конторы увешаны лозунгами: «Больше хлеба стране!» Тут же стенная газета «Комсомольский патруль». На время уборки избран патруль — Шура Валикова, она же и агроном... Вот тебе и деталь, думает Николай, — комсомольский вожак, специалист. Просит у бригадира лошадь — съездить в бригаду, познакомиться с агрономом.

— Мою линейку возьми, — говорит бригадир. — Сейчас кликну ездового...

Пока запрягают, Николай черкает о бригаде: Хоромин. Глаза светлые, в молодости — неотразимо синие; удивляют чистотой и сейчас, когда ему под шестьдесят. Участник Восьмого съезда Советов, через год — «враг» народа. Сидел. Реабилитирован...

Николай останавливается, думает: как иногда жизнь оборачивается к человеку! Пишет и два раза подчеркивает слово «Судьба!». И еще прибавляет строчку: «Поговорить с бригадиром отдельно».

Выехали они с ездовым Павлом Петровичем, мужиком смуглым, высоким и, что особенно хорошо, — разговорчивым. Сразу же: Николай узнал, что поедут мимо бахчи, что колхозная бахча километров за

десять отсюда, а эту отстояла агроном, Шура.

— Спору было! А она на своем: для бригады нужно, для полевых станков. Да и мы сами... — Павел Петрович делает паузу, чтобы покрутить батоном над спинами лошадей, заканчивает: ...тоже не лыком шиты!

На таборе Шуры не оказалось, — уехала на поля. Пока ждали, прилегли в тени молодых подстепному шумливых акаций. Отсюда села видно как на ладони.

По обе стороны от реки — дома с черепичными, соломенными и железными крышами. Николай всматривается в них, стараясь припомнить что-то знакомое. Отчасти это ему удастся, отчасти нет — давно не видел села. А дальше — изрезанная оврагами меловая гора. Она все та же, чеботовцы, наверно, и теперь выбирают оттуда камень для постройки: домов — крейду, приходит на память слово, и Николай радуется, что вспомнил: не все нити оборваны. И еще вспоминает он, как после дождей с горы бежали ручьи, шумели в оврагах. Белые натеки под горой говорят, что ручьи и сейчас бегут после дождей и шумят, наверно, так же. Но село изменилось.

— Поредели Чеботки, — вздыхает Павел Петрович. — Нет Головлей, нет Мироновых, Усовых... Одни перебрались в Луганск, на шахты, другие загнули на войне. Вон оттуда пришел немец, с Коршунов, — ездовый кивает вдаль. — А тикал сюда, через гору. Мало у нас задержался, да шкоды немало сделал — осиротил скольких... У меня случай вышел — напоследки уже, заканчивался драп ихний...

Ездовый оборачивается к Николаю, чуть-чуть улыбается — одними морщинками возле глаз, будто воспоминание вызывает у него одновременно что-то грустное и веселое.

— Возвернулись мы с братухой из степи, — продолжает рассказ. — С Григорьевым в партизанах ходили, может, знаете?.. Первое дело — помыться. Только разоблолся — на дверях двое. За грудки зараз: «Партизан!» А тут, — отворачивает борт рубашки, — звезда, мальчишкой

выколочил... Один из немцев, худючий, как волк, в зубы мне пистолетом: «Капуч!..» Жена побелела от страха, детишки режут, а мне и, точно, капуч совсем...— Отворачивает другой борт — выколота девица, написано: «Лена».— Ухажорка была, когда парнем ходил. А им, немчуре, показалось — Ленин... Худючий, тот порусски мороковал кое-как... Хорошо, переводчик растолмачил, что к чему, — расстреляли бы в собственной хате!

— Лена?— смеется Николай.— Вот от кого обида!

— Лена, прах ее возьми! Только обида у меня, Сергеич, другая. Эх, обида! Рассказал бы, да Шурка вон с велосипедом. Пошли!

Невысокая дивчина, в ситцевом платье, в тапках на босу ногу, катила на велосипеде в село. Николай с ездовым остановили ее.

— О себе? - удивилась она.— Что же рассказывать? Училась, работаю...— Вспоминает, какие еще подробности? И неожиданно говорит:— Не успела сегодня выехать — ЧП. Механизаторы! Команда, говорят, была — сама давала. Верно, давала... Но зачем косить зелень? Еду к секретарю, чтоб сегодня — летучку...

Не торопясь, Павел Петрович повернул к комбайнам знакомить рабочих, как он говорил, с «корреспондентом».

Блокнот Николая пополнялся записями. Побывали на двух фермах, на дневной дойке, проехали село из конца в конец. Смутные, как обрывки снов, наплывали воспоминания... Николай не был сентиментальным; босоное сиротское детство не умиляло его, да и забыл он то детство крепко. Но перемены были разительными. И не только в селе. Разве сам Николай не изменился? Не смотрит на все другими глазами? Уезжали они с теткой Ульяной. Не знала тетка, что не возвратится обратно.

Война началась через неделю. Потянулись эшелоны на Урал, на восток. В одном из таких эшелонов умерла мать. А тетку убило в Лисках при воздушном налете. Разнесло их вагон, Николая

контузило. Два месяца пролежал в госпитале, потом очутился в детдоме, глухой, почти потерявший память. Слух и память вернулись, а родных не осталось... Дальше — учеба, институт журналистики, женитьба. Жена тоже редакционный работник, старше его на шесть лет. Он заведует отделом в журнале, пишет.

Вот и сейчас складывается неплохая статья. Словоохотливый Павел — знал бригадир, кого дать в провожатые, — как нельзя лучше подходил к этому:

— Районные власти тоже, — показывал он кнутовищем куда-то вбок.— Стояла, к примеру, старинное здание. Приказали — сломать! И весь, как есть, камень вывезли в район, кинотеатр строить... Не жалко здания — жалко материал!

А перед глазами Николая Татьяна. Чем больше он ездит по селу, тем настойчивее мысль возвращается к ней. Его здесь не узнают. Есть на деревне Гришины, есть Гриньковы. Но отца его, Сергея Гринько, никто не назвал, не спросил Николая, из какой он семьи. Только Таня сохранила память о нем, осталась единственным близким для него человеком. Теперь бы ему поговорить с ней! Но не это волнует его, честное слово. Ему хочется видеть ее лицо и глаза. Два или три раза взглянул он в ее глаза, а сейчас, кажется, глядел бы в них безотрывно... Ты же не мальчишка, внушает он сам себе, не семнадцатилетний. Но внушение не помогает, в чем-то Николай перестает понимать себя, и это начинает его тревожить.

Проезжая мимо детского садика, он хочет увидеть Татьяну, — хотя бы в двери, в окне. Тани не видно, напрасно он тянет шею. «Павел может заметить!..» — ругает он сам себя. С досадой пожимает плечами.

Отдыхать завернули на усадьбу к ездовому.

Пока Лушатка, девчоночка лет шестнадцати, старшая дочь Павла, хлопотала у каганца, приготавливая обед, распрягли коней и остались тут же, в саду. Молодые яблоньки, как подружки, шли одна за другой, шумели зелеными платьями, и, казалось, перешагнут плетень

и уйдут в степь, озорные, веселые...

— Так в чем же обида, Павел Петрович? — спросил Николай. — Не досказал ты тогда...

— Обида, у меня, — Павел жевал соломинку, губы его шевелились, будто дрожали, сколько уж — десять лет как на сердце лежит. И вот на какое дело.

Покосился на Николая — слушает? И, убедившись, что слушает, продолжал:

— Опосля войны приехала к нам в село... разреши имя не прозывать? Сама здешняя, здесь и росла, только училась в Ростове — голос у ей, пела в хоре донских казаков... Вернулась до дому, к матери, детишечка на ручках — и вся тут... А у матери, может, не сладко: время послевоенное, знаешь, должно, по Дону у нас голодно было. Старуха с меньшей дочкой жила, хата раскрыта, ни кола, ни двора... Ну — у самой ребяенок, работа чижолая, народ грубый. Ничего, однако, в колхоз пошла, на огороды, потом до скота...

У меня в ту пору жена померла, Анфиса, тоже на руках двое. Бобылюю с ними, не дай бог. Только что мужик, силы поболе, а в хате — черти горох молотят...

Те жили — вот хата их, огород с огородом, старуха ее доhone живет... Стал я заходить, помогать кое-чем: яслишки там перетряхнешь, тын поставишь. Разговаривали. Бросил ее тенор, с ихней труппы, значит. Мальчишку прижил и бросил. Тенор и сейчас поет по радио. И вроде бы ничего не сделал мне, а, как услышу, — тошнит от его голоса, выключаю...

Прошло года полтора, набрался я смелости, говорю ей: так, мол, и так, давай жить вместе. Твое горе горькое, мое не слаще, давай в кучу. Как это в алгебре: минус на минус — выходит плюс... Не согласилась!

— Не надо, говорит, Павел Петрович. Оставь...

— Тенора дожидаетесь?

— Не тенора — разводную прислал.

— Кого ж?

— А кто по сердцу...

Я туда-сюда, упрашиваю, мать ее на моей стороне — мужик в доме будет, не согласна, и точка! И по нынешний день так.

Вот уж сколько прошло, — шатаюсь возле ее, как маятник...

Павел Петрович бросил соломинку, сказал убежденно:

— Есть любовь! Что река глубокая: откуда течет и куда — не видно, на дне ее что — тоже не видно. И про себя скажу: на восемь лет старше ей, а вот кажется мне, — Анфису не так любил!..

Рассказ Павла, последняя его фраза задела в Николае что-то подспудное. Годы человек ходит рядом со своей любовью. А Николай живет без любви. И не думал над этим. Есть семьи счастливые, есть несчастливые, значит, так и положено — быть тем и другим. О своем счастье Николай никогда не думал. Да и в чем счастье? Может, в любви, может, в работе, а может, в чем-нибудь третьем. Сколько людей, и у каждого свое счастье. Павел — любит, Николай живет, как пришлось. А Татьяна?.. Николай вздрагивает: почему весь день перед глазами Татьяна? Ведь не скроешь же от себя, думает о ней всю поездку. Что бы ни увидел, что ни скажут — все тут же связывается с ней... «Наваждение! — ругается Николай. Решительно требует от себя: Не думай ты о Татьяне!..»

Додымливал каганец, в хате слышно сквозь открытые окна — гремели посудой; яблоньки шагали все так же, одна за другой, расстилая по-вечернему, наискось, светлые тени. Опять над рекой деловито захлопал мотор...

— Папаня! — позвала с крылечка Луша. — Идите-snидать...

На летучку попали к концу, когда парню, скосившему недозрелый хлеб, приходилось туго:

— Признаешь свою вину? — спрашивала Шура.

— Да признаю, сказал же...

— У кого будут предложения? — спросил худошавый хлопец, видно, секретарь комсомольской организации.

— У меня предложение! — говорит неожиданно кто-то из механизаторов. — Разреши корреспонденту заявление передать?

— Нет, сначала решение! — требует Шура.

Но бумага уже в руках Николая.

«Товарищ атомный корреспондент! — читает он. -

Группа механизаторов просит поставить лекцию о мирном атоме и его применении. Просим также ответить...»

Среди вопросов, заполнявших первую страницу и переходивших далеко на вторую, были вопросы о мю-мезонах, антивеществе и нуль-пространстве...

Парнишку, конечно, наказали. Выговор или предупреждение — Николай не помнит, зато хорошо помнит, как на лекции виновный и Шура сидели рядом, иногда парень бережно, стараясь не задеть волос над ухом, наклонялся к ней, и девушка улыбалась его словам тихой улыбкой, которая на всех девических лицах говорит об одном и том же.

Лекция кончилась к полуночи. Тут же Николая оставили ночевать, в соломе, вповалку с механизаторами. Степь пела пронзительным звоном цикад, звезды шевелились огромные, солома шуршала мягко и сладко. Засыпая, Николай думал: как все перемешалось за день: синие глаза председателя, мю-мезоны, любовь... Ведь они, парнишка и Шура, любят друг друга.

От этой мысли Николай даже улыбнулся, но улыбка тут же сникла с губ, потому что пришла другая мысль, кольнувшая остро и холодно, как игла: «А ведь ты, батенька, остался здесь, чтобы не видеть Татьяну...»

Огромное небо склонилось над ним, звездами глядело в глаза. Звезды были как судьи, от которых не скроешься. И звезды судили его с откровенной прямоотой и дружеской беспощадностью. Они задавали вопросы, а Николай отвечал, не пытаясь кривить душой: перед собой не слукавишь, и звезды не разрешат этого сделать.

Личная жизнь Николаю не удалась. Напрасно он философствовал днем в саду, что у одного счастье в работе, у другого — в другом. Настоящее счастье — в любви, в человеке, которого любишь. Все другое, что мы называем счастьем или принимаем

за счастье, — только отражение первого. Можно спрятаться за привычку, за горы словесных опровержений, но целую жизнь за ними не просидишь. А когда останешься один на один с такими вот глазастыми судьями, быстро приходишь к истине. Николай отвечает на их первый вопрос: счастья у него нет.

Так почему же весь день тревога? Потому — говори только честно, честно! — что Таня пробудила тоску по настоящему счастью. Словом или взглядом — этого не понять. И вовсе не красотой — красивых женщин немало. Скорее теплинкой, с которой сказала: «А я помню тебя...» И действительно помнит! Одна в целом селе. Почему — тоже Николай не поймет. Но ведь это и дорого!

Тогда возникает вопрос, и звезды ставят его: что дальше? Вот этого Николай боится, потому и остался здесь. Как это — боится? — хочет Николай ответить себе, А так: если признать свое чувство к Тане, это значит — войти в конфликт с женой, с собой, с обкатанной за десять лет, притершейся ко всем неровностям жизнью. И вообще — мало ли с чем? Тогда звезды говорят Николаю: если ты трус, ты не узнаешь счастья, проживешь без него. Это их приговор, они холоднее и поднимаются выше.

А у Николая перед глазами улыбка Шуры, Павел с твердым своим убеждением: «Есть любовь!..» Николаю становится холодно: улыбка девушки, убежденность ездового принадлежат не ему. Он гол и беден. От холода ему хочется глуже залезть в солому. Но звезды с высоты смеются над ним: от жизни в солому не спрячешься... И тогда в душе Николая начинает расти протест против них и против себя самого.

Он еще долго не спит. Но уже не обращается к звездам, вошел с ними в конфликт. Зато говорит с собой. О том, что он глупец и, наверно, обидел Таню. Может быть, она ждет его, и он обидел ее. Надо поговорить с нею. Завтра поговорит, не будет вести себя так глупо. И все изменится. Надо, чтобы все изменилось.

Татьяна ждала его. Видела, как он уехал и потом несколько раз бегала через площадь домой — может, не углядела, может, приехал,— и чем дольше тянулся день, тем нетерпеливее становилось ожидание. Что она скажет ему, не знала, но решимость сказать возникла у нее еще утром: «Не мог же он все забыть!..»

Николай не явился вечером и ночью. Татьяна металась от подушки к окну, каждый шорох казался ей шагами, но все было напрасно, только сердце билось и замирало в груди, и во всей ночи, кажется, жило оно одно. Поднялась и опустилась луна, обведя комнату светлым холодным взглядом... Забегал ветер, трогал разгоряченные щеки и плечи Татьяны, качал занавесь, но за дверью никого не было. И все же она ждала. Не будем винить и осуждать женщину. У каждого в жизни свои удачи и неудачи, свое заветное. Таня была обманута, но светлой искрой в ее судьбе оставалась эта маленькая детская дружба. И хотя трезвым умом она понимала и сейчас понимает, что все пережито, завтра ей исполняется тридцать два года, ждать больше нечего,— она все-таки ждет. Ведь Коля здесь! Пусть она ничего не знает о нем и зачем он здесь, но он — приехал! Татьяна вздрагивает при каждом шорохе, вслушивается в тишину ночи.

Забылась она под утро и, когда Николай, вернувшийся наконец с поля, увидел ее бледное лицо, лихорадочно блестящие глаза и спросил участливо: «Что с тобой, Таня?», она ничего не могла придумать и сказала только:

— У меня сегодня... день рождения.

— Так это же замечательно! — воскликнул он. — Мы отпразднуем его!

Николай был весел, ходил за нею из комнаты в комнату, листал свой блокнот, читал ей о Шуре, механизаторах. Работы, говорил он, осталось немного — встретиться с бригадиром. А очерк начнет он писать сейчас же.

— Мне нужен только стол и свет,— сказал он.— Можно отворить ставни?

Татьяна сбегала, распахнула ставни — все до одной, будто надеялась, что

вместе со светом к ней в дом хлынет счастье. И верно — вот оно, счастье: два ласковых слова, сердечный взгляд. У нее поднялись плечи, зарделись щеки, ведь она знала, как она собой хороша.

— Пожалуйста, Николай Сергеевич! Если что нужно...

— Кружку молока нужно,— смеялся он,— ваше доброе настроение,— и глядел на нее веселыми глазами, которые говорили — женщина знает, как говорят глаза,— что она хороша.

— Итак, работаем, Таня, Татьяна Ивановна!

Она и в этот день забегала домой, и всякий раз Николай встречал ее веселым вопросом:

— Шура Валикова, наш молодой агроном, всех парней так по струнке и водит?.. А доярку на ферме, Афанасьеву, зовут Агриппина или Аграфена? У меня записано — «Агр...» Татьяна отвечала, стараясь попасть ему в тон, и чувствовала, как ее низкий грудной голос наливается силой и негой, и она готова запеть.

Работа у Николая спорилась, приходили неожиданные сравнения, свежие слова. Он любил работать, любил людей и умел писать о них, и вот — пишет.

Стопкой ложатся листки. Один за другим проходят перед мысленным взором люди—веселые, гневные, озабоченные. Николай разговаривает с ними, спорит, тоже сердится или смеется... Изредка оставляет работу, подходит к окну, глядит на пыльную улицу, на облака в небе, но удачная мысль опять возвращает его к столу. Все же он вспоминает, что у Тани сегодня день рождения, успевает сходить в магазин.

А вечером — убранный стол, рдяная влага в стаканах, светлые глаза женщины, и голос, рассказывающий — не все ли равно о чем? — о степи, о зорях, о дальней песне в полях... Николай слушает и, кажется, ощущает запах чабреца, арбузного меда, дыни... Ему радостно и легко, как бывало когда-то в детстве. Через голос Татьяны он чувствует связь с родною землей, с селом, в котором он вырос, и легко ему от того, что

эта связь, пронесенная сквозь толщу годов, обновилась и обновила его.

— За счастье, Таня!..

Рядом ее глаза. Николай рассказывает о себе. Нетрудно рассказывать другу, даже

самое заветное, чего не говорил никому.

Она слушает его, она с ним, он ведет ее через годы, она улыбается и грустит с ним, и горюет, и задумывается, и идет рядом.

Так — до самого стука в дверь:

— Николай Сергеевич, корреспондент!

Наказывали повестить — бригадир приехал! Завтра опять, считай, на день.

Это Павел Петрович — от бригадира.

Возвращался Николай поздно. Дом стоял темный, с погашенными огнями. Луна еще не взошла, в эту пору она всходила за половину ночи,

— Отведу коней...— сказал ездовый.

Дверь не заперта, в комнатах тихо. Николай разделся и лег. Сон не шел, мысли мешались, обгоняя одна другую. В окно тянуло запахом степи,— крепким и возбуждающим, как остро настоенный хмель.

Не поедет он завтра! Останется на два дня, на четыре... Опять конфликт, улыбается Николай, теперь уж с редакцией — затянет командировку. Ну и пусть — пусть конфликты с собой, с женой... Как получился у них этот нелепый брак? Николай и сейчас на этот вопрос не ответит. Всегда был один, без угла, без досмотра. Сотрудница пожалела его из милости. Из милости и живут. Жена старше его, считает, что пожертвовала для него всем, страдает, но слишком добропорядочна, чтобы прервать этот ненужный брак: для нее священны домашний очаг и верность. Он тоже добропорядочен по отношению к ней. Так и живут, хотя обоим понятно, что добропорядочность их фарисейская, а домашний очаг - фикция, старательно поддерживаемая для сослуживцев.

Николай вздыхает, поворачивается к окну. Ночь такая же, как вчера, и звезды

такие же. Поговорить с ними еще?..

— Таня! — вдруг слышится в тишине.

Николай вздрагивает, поднимает с подушки голову.

— Таня...

— Чш-ш...— раздается в ответ.

— Не видел тебя, голубка. Бригадира возил. Корреспондент еще этот... «Павел... ездовый!»

— Уходи ты, уходи ради бога!— шепчет Татьяна.— Уходи, Павел Петрович! Не было ничего между нами, не будет!..

— Сколько же ждать?— тоскливо спрашивает Павел.

— А может, недолго!— звенит шепот Татьяны.— Может, он уже близко — жданный мой...

Помолчали.

— Таня,— зашептал Павел.— Ведь люблю я тебя, люблю...

— Нет, нет, уходи. Ничего между нами не будет...

— Годы идут...

— Ну что годы, Павел Петрович. Иди!

Слышно, как, затихая, отзвучали шаги. «Любит»,— подумал Николай о ездовом,

вспомнил его слова о любви: «Что река глубокая: откуда течет и куда — не видно...» И остро, до боли, ощутил, что река течет мимо него, а он лишний здесь, между Татьяной и Павлом. Третий и лишний... И поездка его ни к чему — все не нужно...

В соседней комнате плачет женщина. Николай опять поднимает голову от подушки: «Чего она?...» — думает с раздражением. Глядит на лунную полосу, разделившую комнаты...

Татьяна плакала потому, что все было правдой. Девятнадцатилетней девушкой она уехала из села. Голос ее заметили, пригласили работать в хор. Казалось, что это счастье, а все обернулось бедой. С тенором — правда. И то, что Гриша растет без отца,— правда. Никуда от этого не уйти. И от Павла тоже, наверное, не уйти. Пришел вот, и Николай слышал весь разговор. Что он о ней подумает?.. Тысячи трагедий разыгрываются на земле. Но это не оправдание. В том, что случи-

лось, виновата она. Не надо было легко доверяться людям. Но ведь на ком написано, что он — хам?.. В двадцать лет мир кажется добрым и светлым... Что же делать теперь? Татьяна смотрит на лунный квадрат, простершийся на полу. Что делать?..

Утром, пока Татьяна доит корову, Николай собирает вещи. Выйдет на мост — там идут машины на станцию. Хорошо бы уехать с первой. Николай спешит не только потому: ему тяжело видеть Татьяну. Виною не Павел и, конечно, не он сам, случайно подслушавший разговор, а все-таки — нет чистоты на сердце. В сотый раз повторяет: «Разве поймешь, сможешь в чужой любви?..» И от этого сам, кажется, противен себе.

Но с Татьяной надо проститься. Вот она цедит молоко, ставит доёнку.

— Таня, — говорит он, выходя в коридор, — я уезжаю.

Хочет поблагодарить, но язык не поворачивается: все это дешево и не нужно. Она смотрит на него, глаза наполняются влагой.

— Таня!.. — будто толкнуло его к ней. Он обнимает ее и целует в губы. Она не успевает ответить, он уже на крыльце, на улице.

Не слышит, не знает, что женщина, как слепая, ходит по комнате, натывается на кровать, приникает к подушке, еще теплой от его дыхания.

Не знает, как минуту спустя, она бежит на дорогу, останавливает машину, сует что-то в руки шоферу:

— Саша, родненький, передай Николаю Сергеевичу, корреспонденту...

— Да ну, буду я там еще...

— Только ты успеешь, — просит она. — Передай, миленький!..

Ударил второй звонок. «Вот и поехали...» — Николая даже коробит от пошлости этих слов. Лучше уж ни о чем не думать!..

Но как не думать, если весь он — противоречие? Сам делает глупость за глупостью и сам же себя казнит... Разве не глупость, что бежал от Татьяны, сидит в

вагоне, как глыба?.. Было ж, когда, открыв дверцу кабины, замешкался: ехать или остаться? «Сумасшедший!..» — выругал себя и захлопнул дверцу. А может, надо быть сумасшедшим, — сойти с поезда и остаться!..

Нехотя трогается вагон. Первый удар на стыке, второй... Теперь уже все равно, все равно, — вторит Николай ударам на стыках.

— Николай Сергеевич! — Парень в шоферском бушлате — откуда он взялся? — протягивает сверток. — От Тани...

— Тани?.. — Николай пытается развязать пакет. Тесьма не поддается, он разрывает ее.

На ладони — белый кругляш, и с него подняв крылья, будто собрался взлететь и зовет за собою, смотрит Николаю в зрачки золотой петушок.

С минуту Николай старается понять, что-то припомнить. Поднимает взгляд на окно. Кружится, словно в пляске, бежит за вагоном степь. «Куда она бежит?..» — не поймет Николай, мысли его о другом: надо решиться.

Опять опускается на скамью. В руке — до боли сжатый кругляш, это он требует: надо решиться...

Проводник, на ходу приготовив флажки, открывает дверь на площадку. Врывается ветер, душистый и жаркий, кружит голову, как глоток крепкого хмеля.

— Проводник! — кричит Николай.

Тот останавливается в двери.

— Сутолмино проехали?

На разъезде Николай сходит с поезда. Все здесь ему знакомо: карагачи, станционный дом... Последний раз он приезжал сюда с теткой Ульяной и отцом Тани двадцать два года тому назад. От разъезда бежит дорога. Тоже знакомая. Ведет она в Чеботки. Николай не ждет попутной машины. Не велико расстояние в восемь верст, если в жизни пройдено больше. Так и идет, пешком. Глянуть со стороны — работага, вернувшийся из поездки в город...